

## Вещи и знаки в мире советской культуры

А.И. Куляпин  
БАРНАУЛ

В. Шкловский первым обратил внимание на то, что в художественном мире Зощенко знак норовит обернуться вещью. Герой рассказа «Баня» (1925) не узнает свои брюки:

– Граждане, – говорю. – На моих тут дырка была. А на этих эвон где.  
А банщик говорит:  
– Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит [Зощенко, 2000, с. 397].

«Комизм положения, – замечает Шкловский, – в том, что дырка в первом случае дана как признак вещи, а во втором как вещь, которая требуется» [Шкловский, 1990, с. 418].

Другой пример Шкловского еще более прозрачен. В рассказе «Утонувший домик» (1925) жители прибывают «уровень воды» на второй этаж: чтобы воры не украли: «“Уровень воды” оказывается не знаком, а вещью, подлежащей сохранению» [Шкловский, 1990, с. 419].

Статья «О Зощенко и большой литературе» была опубликована в 1928 году, но общая концепция зощенковского сказа сложилась у критика еще в середине двадцатых. Это полностью формалистская концепция. Шкловский в связи с творчеством Зощенко привычно рассуждает об «автоматизме языковых штампов» и предсказуемо заявляет: «вещь Зощенко не имеет большого социального значения» [Шкловский, 1990, с. 418].

Принципиальное нежелание лидера отечественного формализма выйти в бытовой контекст не позволило ему оценить именно социальную значимость процесса овеществления знака в постреволюционной культуре.

Зощенко – гениальный диагност болезней сталинской эпохи. Поступок жителей «утонувшего домика», при всей его нелепости, не уникален для того

---

© А.И. Куляпин

времени. К. Чуковский записывает 7 августа 1933 г. в дневнике впечатления от пребывания в Евпатории: «...неподалеку от нас есть сапожник, который, уходя на обед, снимает вывеску и уносит с собой: воруют. Вообще воровство в Евпатории сказочное» [Чуковский, 1995, с. 79].

В мире победившего социализма взаимоотношения знака и вещи далеки от привычных. Устоявшиеся системы символов были революцией разрушены. Говоря словами Маяковского, «вдруг / все вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать лохмотья изношенных имен» [Маяковский, 1955, с. 163]. Разладились стабильные до того связи между означающим означаемым и денотатом. Но советская цивилизация не просто ломала сложившуюся в России семиосферу, а еще и стремилась к практическому использованию ее разрозненных элементов.

На страницах «Зависти» устами Ивана Бабичева Ю. Олеша метафорически охарактеризовал прагматизм нового мира по отношению к культуре прошлого: «Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины... Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки – плесень. Это наши чувства! Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно – какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка, – а гнилушку он затопчет, притушит» [Олеша, 1983, с. 82].

Герой романа, безусловно, прав, только он напрасно пренебрегает другим аспектом процесса утилизации дореволюционного наследия: наряду с вещами ушедшего мира в хозяйственный оборот поступают и знаки, как будто бы материальной ценности не имеющие. Хорошо известны, в частности, факты строительства дорог или набережных из кладбищенских надгробий. «Многие гранитные надгробия с русского и еврейского кладбищ в Дорогомилове пошли на облицовку набережных в конце тридцатых годов. Гранитные плиты с могил чиновников, купцов, совслужащих и военных ушли под воду, спрятав от любопытных глаз прохожих последние прощальные слова близких: “Господи, прими дух его с миром”, “Здесь лежит...”, “Убитые горем жена и дети...” и т. д. и т. п.» [Андреевский, 2003, с. 12].

Радикализм большевиков в деле попраiania святынь буржуазного мира ярко отразился в эпатажном предложении Ленина – сделать из золота общественные отхожие места на улицах самых больших городов мира: «Это было бы самым “справедливым” и наглядно-назидательным употреблением золота» [Ленин, 1964, с. 226]. Конвенциональная стоимость золота – всеобщего эквивалента труда – в ленинском проекте игнорируется. Подчеркнуто, что никакой безусловной ценностью благородный металл не обладает и годится только на изготовление сортиров.

Поразительный и в то же время характерный образ зафиксирован на одной из фотографий печально знаменитого сборника «Беломорско-Балтийский канал им. Сталина. История строительства» (1934) – «На крестах старой Карелии провода, как знамя социалистического наступления». Крест (знак-символ чистой воды) превращен каналармейцами в опору для линии электропередач. И вряд ли на этот шаг их подвигла суровая экономическая необходимость: леса в Карелии избыток. Но проектировщикам светлого будущего мало низвести

сакральный символ прошлого до обыденного предмета, следующим этапом становится перевоплощение этого предмета в сакральный символ уже нового мира. Так крест стал «знаменем социалистического наступления».

Полный цикл обращения знака в вещь и вещи в знак воссоздал в романе «Большая дорога» (1949) В. Ильенков. Сельская учительница Анна Кузьминична, узнав о победе революции, тоже совершает переворот – семиотический: «Когда пришла весть о революции, Анна Кузьминична сшила из своей красной кофточки флаг и повесила его над крылечком школы, а ночью сняла большую икону, висевшую в углу школы, расколола ее топором на мелкие лунки и лучинками разожгла самовар. Все это она проделала с таким великим душевным трепетом, словно ей угрожала смерть» [Ильенков, 1950, с. 7].

Несомненно полемическая цитатность данной сцены. Мотив «рубки образов» восходит к Достоевскому («Подросток», «Дневник писателя», варианты «Бесов»). Комментируя в статье «Влас» из «Дневника писателя» за 1873 г. кощунственный жест героя, Достоевский писал о потребности отрицания в русском человеке, «иногда самом неотрицающем и благоговееющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем» [Достоевский, 1994, с. 41–42]. Завершается размышление Достоевского, впрочем, вполне умиротворяющее: «Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения» [Достоевский, 1994, с. 42].

Героиня В. Ильенкова пускает «народную святыню» на дрова, после этого ни о каком покаянии, разумеется, речь не идет. «Восстановление и самоспасение» в обретении новых культовых предметов.

Цинично уничтожая святыни прошлого, большевистская власть решительно пресекала даже робкие попытки усомниться в сакральном статусе символов коммунистических. Узнав, что беспартийные могут уехать со строительства узкоколейки, один из персонажей романа «Как закалялась сталь» выбрасывает комсомольский билет:

– Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не жертвую здоровьем!

Конец фразы заглушили заматавшие по бараку голоса:

– Чем швыряешься!

– Ах ты шкура продажная!

– В комсомол втерся, на теплое местечко целился!

– Гони его отсюда!

– Мы тебя погреем, вошь тифозная!

Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь, как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек копилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку [Островский, 1955, с. 229].

Герои Н. Островского, как и он сам, подвластны законам мифологического мышления. Достаточно изменить название вещи (вместо «комсомольский билет» – «кусочек картона»), чтобы изменить саму ее сущность (сгорает не билет, а действительно всего лишь «картон»).

Между персонажами Островского и персонажами Зощенко сходства не больше чем между представителями разных биологических видов. Тем не менее, кое в чем они близки. Для советского человека статус той или иной вещи определяется ее именем, а не ее свойствами. Семейство Гусевых из зощенковского рассказа «Качество продукции» (1927) не в состоянии понять, что за порошок оставил снимавший у них комнату немец. Проблема решается просто. Гусев заявляет: «Пушай это будет пудра. Пушай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни» [Зощенко, 2000, с. 538–539]. После чего средство от блох чудесным образом превращается в пудру. Загадочные трансформации материи на этом не останавливаются: «Через месяц, когда *пудра* подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох» [Зощенко, 2000, с. 539]. Получив новое имя, вещество получает новую функцию. Финал рассказа: «Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи» [Зощенко, 2000, с. 539], – дает все основания предположить, что хотя бы остаток порошка был израсходован по прямому назначению.

Философия советского человека – странная смесь грубого материализма и агностицизма, перерастающего порой в солипсизм. Непознаваемая «вещь в себе» волюнтаристски объявляется тем предметом, который необходим в данный момент, но, конечно, так и остается всего лишь символом, а не настоящим предметом. При этом нельзя не учитывать, что советский космос создан не культурными героями, а трикстерами, чьи деяния приобретают характер пародии на серьезные акты творения (именно таково, например, соотношение между «лампочкой Ильича» и лампой накаливания Эдисона).

На протяжении 1920-х гг. Зощенко очень интересуется вопросом о последствиях проникновения элементов западной цивилизации в советский мир. Одно из многих его произведений на эту тему – фельетон «Игрушка» (1927). Рассказчик покупает своему сыну игру «Дьяболо», «специально сработанную по заграничным образцам»:

«Такая французская игра для детей. Такая веревочка на двух палках и катушка. Эту катушку надо подкидывать кверху и ловить на веревку. Только и всего.

Веселая, легкая игра. Специально на воздухе. Ах, эти французы, всегда они придумают чего-нибудь забавное!» [Зощенко, 2000, с. 583].

Сын героя при первой же попытке воспользоваться игрушкой получает серьезную травму, а в магазине возмущенному отцу объясняют:

– Напрасно обижаться изволите. Эта игрушка приготовлена совершенно по заграничным образцам. Только там резиновые катушки бывают, а у нас деревянные. А так все остальное до мелочей то же самое... У них веревка – и у нас веревка. Только что наша немножко закручивается. Играть нельзя. Катушка не ложится. А так остальное все то же самое. Хотя, говоря по совести, ничего остального и нету, кроме палок [Зощенко, 2000, с. 583].

Несмотря на явную непригодность вещи, работники магазина все же находят довольно неординарный способ ее применения:

– А вы, говорят, для душевного спокойствия не давайте ребенку руками трогать эту игру. Прибейте ее гвоздем куда-нибудь над кроватью. Пушай ребенок смотрит и забавляется.

– Вот, говорю, спасибо за совет! Так и буду делать.

Так и сделал.

Только прибил не над кроватью, а над буфетом. А то, думаю, ежели над кроватью – сорвется еще и за грехи родителей убьет ни в чем не повинного ребенка [Зощенко, 2000, с. 583].

Финал фельетона зеркален по отношению к рассказу «Утонувший домик». Однако если в рассказе знак оказался вещью, то в фельетоне наоборот, вещь сделалась знаком. Эта трансформация неизбежна, поскольку «Дьябло» – не совсем вещь, скорее – это ее имитация. Выясняется, что творческий потенциал нового мира не так уж и велик.

Инвариант целой группы рассказов Зощенко сводится к единой сюжетной схеме: советский человек осваивает западную технику и обнаруживает, что ее практическая ценность равна нулю. Прагматика вытесняется семиотикой.

Контрорщик Сережа Колпаков из рассказа «Европеец» (1924), заключив договор на установку телефона, чувствует себя «иным человеком»: «Сергей Иванович Колпаков, служащий и советский гражданин, – настоящий, истинный европеец с культурными навыками и замашками» [Зощенко, 2000, с. 335]. Вот только использовать телефон по прямому назначению герою так и не удается. Как ни пытается Сережа отыскать «хоть какое-нибудь место, куда бы можно было позвонить», оказывается, что «звонить было некуда» [Зощенко, 2000, с. 336]. Телефон остается знаком необоснованной претензии на европеизм.

Есть телефон, но звонить некуда, есть аэроплан, но лететь некуда, есть диктофон, но записывать нечего – общий инвариант легко просматривается в рассказах «Телефон» (1926), «Полетели» (1924), «Диктофон» (1924) и некоторых других.

Основным способом творения вещей в советском мире становится номинация. Идеальной первоматерией для творчества в этом случае, естественно, представляется пустота. Пустота в руках творцов нового мира, конечно, так и остается пустотой, зато создается видимость ее овеществления.

В. Маяковский в «Мистерии-буфф» (1918) сформулировал закон распределения благ в демократическом обществе:

Одному – бублик, другому – дырка от бублика  
Это и есть демократическая республика  
[Маяковский, 1956, с. 204].

Чуть позже, в двадцатых годах, сделает для себя сквозным образ «дырки» Михаил Зощенко. Помимо уже упомянутого рассказа «Баня» этот символ появится еще в ряде его произведений. На вопрос «Много ли у нее вещичек?», героиня рассказа «Жених» (1923) отвечает: «Вещичек, – говорит, – не так много: дыра в кармане, да вошь на аркане» [Зощенко, 2000, с. 241]. Расхожая поговорка внезапно обретает у Зощенко весомость. Тот факт, что «дыра в кармане» – главное достояние советского гражданина, подтверждает сюжет еще одного рассказа – «Бедный человек» (1924). Робин Гуд новой формации – сознательный вор Васька Гусев в честь «огромного праздника» 1 мая собирается облагодетельствовать какого-нибудь бедного человека, но заканчивается это трагикомически.

«Васька Гусев подошел к бедняку поближе, нащупал карман в рыжих штанах и сунул туда портсигар.

Портсигар провалился в карман и вдруг с грохотом упал на панель. В рыжих штанах карманов не было.

Человек в рыжих штанах охнул и схватил Ваську за руку.

– Воруют! – закричал он, сжимая Васькины руки» [Зощенко, 2000, с. 293].

Очевидно, что единственное имущество, которое мог гипотетически похитить Васька Гусев и которое так рьяно защищает советский бедняк, – это все та же «дыра в кармане».

Интересен поворот темы в фельетоне «Социальная грусть» (1927). Комсомольцу Грише Степанчикову, вставившему три золотых зуба, ячейка предлагает неожиданную альтернативу: «Неужели же нельзя простому комсомольцу дыркой жевать и кушать?» [Зощенко, 2000, с. 546]. А в рассказе «Дырка» (1927) «довольно большое отверстие, вроде бы дыра неизвестного происхождения» [Зощенко, 2000, с. 577] – это единственный доступный герою «прибор» для измерения времени.

Зощенко не столь афористично как Маяковский, но зато более убедительно показал: в СССР равенство достигнуто за счет того, что дырка от бублика достается всем, а сам бублик – никому. Хуже всего, что постепенно и сам советский человек обратился, если воспользоваться выражением Гоголя, в какую-то прореху на человечестве. «А я-то что, человек или дырка?» – спрашивает герой рассказа «Человек с нагрузкой» [Зощенко, 2000, с. 420]. И это не риторический вопрос.

### Литература

Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (20–30-е годы). М., 2003.

Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. СПб., 1994. Т. 12.

- Зощенко М.М. Сочинения. 1920-е годы. СПб., 2000.
- Ильенков В. Большая дорога. Саратов, 1950.
- Ленин В.И. О значении золота теперь и после полной победы социализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1964. Т. 44.
- Маяковский В.В. Владимир Маяковский. Трагедия // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1.
- Маяковский В.В. Мистерия-буф // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 2.
- Олеша Ю.К. Избранное. М., 1983.
- Островский Н.А. Как закалялась сталь // Островский Н.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1955. Т. 1.
- Чуковский К.И. Дневник (1930–1969). М., 1995.
- Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М., 1990.